
АНДРЕЙ РАТИБОРО
ТЕНЬ
НАД ПОЛЯНОЙ
18+
Хроники забытого края

Андрей Ратиборо

Хроники Забытого Края: Тень над поляной

https://litres.ru/74712364
SelfPub; 2026

Аннотация

Андрей родился в Бузулуке и в младенчестве дважды должен был умереть. Оба раза смерть отступила, но с тех пор за ним по пятам ходит Тень — половина души, оставшаяся по ту сторону. Слепой старик дал ему гвоздь из взорванной церкви и предупредил: тех, кто рядом с тобой, Тень будет выпивать до дна.

Прошли годы. Под городом начинает дрожать земля, из степи ползёт ледяной туман, а в старом депо открывается дверь, за которой течёт река времени. Она выносит Андрея в 1736 год, к частоколу только что заложенной Бузулукской крепости. Здесь всё началось: здесь первый вбитый кол разбудил то, что спало в степи.

Впереди у него осада, казачье братство, путь к горе Шихан и на Урал, ведьмин шабаш и упыри в лесу. И враг страшнее любого клинка: тьма, которая отнимает у людей память. Сохранить своё имя здесь может только тот, кто помнит.

Мистический роман о казачьей степи, древних клятвах и о том, что земля помнит всех, кто по ней прошёл.

Содержание

Часть первая. Изнанка 5
Глава 1. Две монеты 5
Глава 2. Письмо из подпола 11
Глава 3. Сестра 14
Глава 4. Бабушкин корабль 18
Глава 5. Казачья кровь 21
Глава 6. Тень за школьной дверью 24
Глава 7. Тень над школьным коридором 26
Глава 8. Запах сирени 29
Глава 9. Запрещённый удар 32
Глава 10. Кости и железо 35
Глава 11. Тень над степью 37
Глава 12. Стульчики-зайчики 40
Глава 13. Группа «Солнышко» 43
Глава 14. Местный 45
Глава 15. Правила игры 48
Глава 16. Серый ад 52
Глава 17. Битва и боль 54
Глава 18. Тень на асфальте 57
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Андрей Ратиборо Хроники Забытого Края: Тень над поляной

Андрей Ратиборо

Тень над поляной

Хроники забытого края

Часть первая. Изнанка

Глава 1. Две монеты

Я родился в Бузулуке в те годы, когда земля ещё не просохла после большой войны. Асфальт на улицах пах дешёвым бензином, подворотни — въевшейся тоской. Наш город будто нарочно забывали наносить на карты. Время здесь тянулось густо и лениво, как подогретая патока, а из степи вечно несло сухой полынью и чьими-то забытыми грехами.

Меня назвали Андреем. Впрочем, имя — всего лишь ярлык, бумажка на свёртке, которому полагалось сгнить в пелёнках раньше, чем он успеет осознанно вздохнуть. Кто-то наверху — пьяный, равнодушный, швыряющий кости с человеческими судьбами — почему-то передумал. А может, просто ошибся в расчётах.

В младенчестве я должен был умереть дважды.

Первый раз — зимой, в нашей хрущёвке. Мне было несколько месяцев. Лихорадка жгла так, что матери я казался горящей свечкой. Руки у неё к тому времени огрубели от ледяной воды и бесконечной стирки. Она молилась всем святым, каких могла вспомнить, но в комнате пахло не ладаном — кислым молоком, потом и подступающей темнотой. Моё сердце, крошечный упрямый барабан, сбивалось и затихало,

как часы с кончившимся заводом. Тьма у двери уже тянула к кроватке холодные пальцы.

И вдруг что-то щёлкнуло. Случайность, слепая удача — барабан застучал снова. Я выжил. Сам я этого, конечно, не помню, но внутри остался след: будто кто-то прижал к моему лбу ледяную монету.

Второй раз вышел хуже. Я уже ползал по засаленным коврам и исследовал углы. Глупая детская игра, в которую я играл один. Я сорвался с высоты — смешной для взрослого и смертельной для ребёнка — и ударился головой точно об угол тяжёлого стола. Мир разлетелся вдребезги. Тёплая густая кровь хлынула на пол, смешиваясь с пылью. Жизнь просто вытекала из меня. В памяти осталось лишь два ощущения: тонкий пустой звон, как от разбитого стакана, и чьи-то невидимые руки, которые ухватили меня за пятки и потащили вниз — сквозь половицы, в глухой нежилой подвал.

Но там снова передумали. Сказали: «Рано». И я остался.

С тех пор я рос с ясным чувством, что я здесь чужой. Контрабанда, которую по недосмотру пропустили через таможню жизни.

В школе стало только хуже. Классы пахли хлоркой, мокрыми тряпками и вечным страхом перед завучем, и всё это казалось мне дешёвыми декорациями. Вокруг шумели дети: дрались за гаражами, разбивали носы, плакали и мирились. У них всё было настоящим, громким. А я жил в вакууме. Часами смотрел в окно, туда, где за крышами плавилось тя-

жёлое степное солнце. Казалось, прижмись я к стеклу чуть сильнее — оно растает, и я провалюсь в серую изнанку, откуда меня когда-то выдернули.

Учителя считали меня странным: тихий мальчик со взглядом старика, вещь в себе. Они не знали, что по ночам темнота выползала из-под плинтусов и заговаривала со мной. Не голосом — низким гулом, от которого закладывало уши, как под высоковольтной линией в мороз. На краю кровати гул уплотнялся в зыбкий силуэт. Я назвал его Тенью.

Страха не было. Среди картонных людей Тень оказалась единственным существом, которое я чувствовал по-настоящему. От неё веяло тем самым холодом — оттуда.

— Зачем? — спрашивал я пустоту. — Зачем меня вернули?

Она не отвечала. Но когда мне исполнилось девять, впервые позвала за собой.

Был август. Степной ветер нёс в город удушливый дым горящих торфяников. Тень скользнула к двери, задержалась у замочной скважины и просочилась в щель. Я натянул штаны прямо на пижаму и, стараясь не скрипеть паркетом, чтобы не разбудить мать, повернул ключ.

В подъезде горела единственная тусклая лампочка. Тень перетекала со ступеньки на ступеньку, натягивая невидимый поводок. Бузулук спал под чёрным небом. Горел в лучшем случае каждый четвёртый фонарь, выхватывая из темноты куски разбитого асфальта. Дворами мы вышли к частному

сектору. Здесь, среди покосившихся заборов и гнилых изб, время умирало окончательно, а из степи полз морок.

Тень остановилась у низкого дома с заколоченными окнами. На крыльце горела керосиновая лампа — дикость по тем временам. Тень скользнула под дощатый настил и пропала.

— Ну чего застыл? Раз пришёл — заходи, — прохрипел из темноты прокуренный голос.

На свет вышел старик в засаленном ватнике, застёгнутом, несмотря на августовскую духоту, на все пуговицы. Глаза у него были белые, затянутые мутной плёнкой катаракты. Совершенно слепой. И всё же смотрел он точно мне в лоб — туда, где под волосами прятался багровый след от удара о стол.

— Двоедушник, — сплюнул старик и присел на корточки. Чертыхнулся, затянулся самокруткой и выпустил дым мне в лицо. — Дождался я тебя. Смерть мимо прошла, косой махнула, да только воздух рассекла. Думаешь, живой? Чёрта с два. Ты одной ногой ещё там, в подвале, паря. А Тень твоя — та часть тебя, которую ты на том свете впопыхах забыл. Она за тобой ходит, караулит. Да только боги велели тебе здесь побыть. Садись. Учить буду, пока время есть.

Я отступил на шаг. Ночь была душной, но меня пробрал озноб. Старик затянулся, и огонёк самокрутки вспыхнул, как злой глаз.

— Думаешь, подарок? Особенным себя возомнил? — Дед Матвей (так его звали) зашёлся лающим кашлем. — Это про-

клятие, малец. Чистое, без примесей. За то, что ты тут дышишь, твоя Тень сожрёт всё, до чего дотянется. Живые рядом с тобой не согреются. Мать твоя… видишь, как чахнет? Тень из неё соки пьёт, чтобы в тебе недогоревший костёр поддерживать. Друзей у тебя не будет. Бабы, если и свяжутся, увянут на глазах, как сорванная полынь. Ты — дыра в заборе между этим миром и тем. А из дыры всегда тянет ледяным ветром.

У меня перехватило горло. Я вспомнил серое лицо мамы, её вечный кашель на кухне. Неужели это из-за меня? Неужели я паразит, который высасывает из неё дни только потому, что не сгнил в младенчестве?

Матвей разжал кулак и вложил мне в ладонь что-то тяжёлое — старый кованый гвоздь, согнутый полукольцом, шершавый от ржавчины. Стоило мне сжать его, и гул в ушах стих.

— Из оклада церкви, которую в тридцатых взорвали, — буркнул старик. — Железо мёртвое, калёное. Удержит Тень твою на привязи. Из Бузулука не уезжай: степь тебя держит. Уйдёшь — Тень сорвётся, и тогда хана. А теперь пошёл вон. Домой беги. Завтра мать увидит, какой ты бледный, — опять плакать будет.

Он отвернулся, закутался в ватник и словно превратился в кучу старого тряпья. Лампа над крыльцом звякнула и погасла.

Назад я бежал, не разбирая дороги. Гвоздь впивался в ла-

донь до крови. В девять лет моё детство кончилось.

Дома, под одеялом, я прижал железку к груди. Тень сжалась в углу и стала обычным пятном. Через полчаса скрипнули половицы: мать подошла, поправила одеяло. Её рука, пахнущая дешёвым мылом, коснулась моего шрама.

— Господи, сохрани его, — прошептала она, перекрестила меня и ушла, сдерживая кашель.

Я лежал и вытирал слёзы о жёсткую подушку. Она молилась о моём спасении и не знала, что это спасение её убивает.

Глава 2. Письмо из подпола

Теперь я взрослый. Всё тот же Андрей из Бузулука. Шрамов моих прохожие не видят, но душа от них давно онемела. Иногда, когда над городом повисает глухая предрассветная тишина и на переезде тоскливо гудят тепловозы, я чувствую за спиной смерть. Она никуда не ушла. Просто ждёт, когда я ошибусь, оступлюсь, забуду, что я всего лишь неисправленный черновик Вселенной.

Город меня помнит, и в последнее время эта память стала слишком ощутимой. Чернота, о которой твердил Матвей, начала сочиться сквозь асфальт. Сначала из округи исчезли бродячие собаки — те самые, что годами провожали меня слишком умными глазами. Потом прямо за окраиной провалилась земля. Из воронки по ночам валил густой пар с запахом тухлой воды. Тень вела себя скверно: металась по стенам, тянулась к окну, будто там, между хрущёвками, бродило что-то огромное и очень голодное.

Я сидел на кровати и крутил в пальцах гвоздь Матвея. За годы ржавчина стёрлась, железо отполировалось до матового блеска и стало продолжением руки. Мать умерла пять лет назад — тихо высохла, как трава в июле. Старик пропал, его изба стояла заколоченной. Я остался один.

Вдруг зазвенела посуда в серванте. Из-под земли поднялся низкий вибрирующий гул. Тень стрелой метнулась по сте-

не и указала в пол, прямо мне под ноги. Линолеум лопнул с сухим хрустом. Из щели потянуло гарью старого торфяного пожара и могильным холодом. Трещина побежала дальше, ломая доски, и между лагами, в вековой пыли, обнаружилось кое-что ещё: тяжёлый свёрток в промасленной рогоже.

Я встал на колени, ободрал пальцы о щепки, но вытащил его. Рогожа пахла мазутом и едким табаком деда Матвея. Выходит, старик спрятал это здесь, у нас под полом. Когда и как — я не мог даже представить.

Внутри лежали старая тетрадь в обложке из телячьей кожи и латунный ключ с тремя бородками, покрытый зелёным налётом. Бумага крошилась под пальцами. Фиолетовые чернила, размашистый, торопливый почерк.

«Тому, кто держит гвоздь. Если ты читаешь это, Андрей, значит, земля под городом зашевелилась. Твоя мать молилась, но не знала, что я сам принёс тебя на алтарь. Вторая смерть не была случайностью. Я выкупил тебя у Тени. Твоя душа раскололась: одна половина осталась в теле, другая стала Тенью, твоим стражем. Стражу нужно топливо, поэтому живые рядом с тобой чахнут. Прости, парень. Без него изнанка давно сожрала бы Бузулук».

В горле встал ком. Вся моя жизнь — одиночество, смерть матери — оказалась платой за то, чтобы этот богом забытый город и дальше коптил небо.

«Тень сдерживала холод, пока в степи не начали бурить новые скважины. Нефтяники вскрыли пласт, которого нель-

зя было трогать. Равновесие рухнуло. Твоя Тень беснуется, потому что холод идёт за ней. Ступай в старое железнодорожное депо, к заброшенной ветке. Ключ откроет подсобку под ремонтной ямой. Там лежит то, что я не успел вернуть. Если не закроешь проход, пока пар не дошёл до жилых домов, Бузулук станет склепом. Смерть взыщет долг с каждого. С тебя — первым».

Последние строчки обрывались тёмными каплями. Пол снова тряхнуло, трещина разошлась шире. Медлить было нельзя. Я сунул тетрадь и ключ во внутренний карман, сжал гвоздь в кулаке и повернулся к углу:

— Пошли.

Тень скользнула по потолку и упала к моим ногам. Я вышел в ночь.

Глава 3. Сестра

Мы никогда не жили богато. Наш старый дом на окраине, покосившийся, как пьяница после недельного запоя, стоял там, где разбитый асфальт окончательно сдавался корням старых дубов. Из подвала вечно тянуло сыростью, дешёвым мылом и чем-то приторным, застоявшимся. Мы называли это «запахом дома».

Единственным светлым пятном в этом сером болоте была моя старшая сестра Елена. Волосы цвета спелой ржи густой волной падали ей на плечи, а зелёные, как лесной мох, глаза, казалось, видели то, чего я в детстве не мог даже осознать. Она всегда меня защищала. Была моей настоящей, земной тенью, пока за дверью сгущался чужой морок.

До семи лет я болел не переставая — и это был не просто грипп. Ночью, когда мать проваливалась в тяжёлый, мёртвый сон, кто-то начинал шептать мне прямо в ухо. Приходили врачи, хмурились, поглядывали на меня с непонятной опаской. От них пахло спиртом и безнадёжностью. Они уходили, а я оставался в кровати, где стены дышали, а тени в углах шевелились, стоило мне моргнуть.

Но я выжил — так выживают те, кто слишком много видит и умеет молчать. Помню дни, когда внутри всё горело, будто из меня вырывали куски живого мяса и вставляли на их место холодные железки. Елена часами сидела рядом, держа-

ла за руку и вполголоса рассказывала сказки про драконов и принцесс, которые никогда не умирают. Её вера была моим щитом.

Только тьма не уходит насовсем. Она ждёт, пока окрепнут кости, а душа, наоборот, станет мягкой и податливой. Сегодня, глядя, как дождь стучит по стеклу, я понимаю: та детская болезнь была не недугом, а приглашением. В мир, где Елена уже не сможет закрыть меня собой. Где тени оживают, а каждый шорох в коридоре — шаги тех, кто пришёл забрать меня обратно.

Я знаю, они придут. Но страха больше нет. Я видел лицо этой болезни, и оно точь-в-точь моё.

Дорога к депо шла как раз мимо нашего старого дома. Я думал, он давно опустел, но в окне гостиной горел тусклый свет. Не успел я подняться на крыльцо, как дверь скрипнула. Из темноты прихожей в свет фонаря шагнула женщина. Те же ржаные волосы — только густо тронутые ранней сединой. Те же моховые глаза, полные застарелой тоски. Она так и не уехала из Бузулука. Осталась сторожить обломки нашего детства.

— Всё-таки пришёл, Андрей. — Её голос прошелестел, как сухая степная трава. — Земля под депо ходит ходуном. Мы почти опоздали.

Моя Тень при виде неё испуганно вжалась в ботинки и прикинулась обычным клочком темноты. Тварь, годами жравшая людей, пасовала перед взглядом сестры. Елена все-

гда видела изнанку, и город, похоже, с ней считался.

Я стиснул гвоздь в кармане. В голове крутились слова Матвея: живые рядом со мной не согреются. Глядя на её седину, я понимал, какую цену она заплатила за то, чтобы я дышал.

— Елена, зачем ты здесь? Старик говорил, что я для вас опасен.

— Старик много болтал. — Она горько усмехнулась. — Думал, вырастил идеального цепного пса, а про семью забыл. Я была твоей защитой задолго до того, как эта чёрная дрянь заняла моё место. Ключ у тебя?

Я достал позеленевший латунный ключ. Елена взглянула на него и повернулась к путям. Оттуда на депо уже наползал ледяной маслянистый туман с запахом тухлой воды.

— Идём вместе. Если до рассвета не запрём эту черноту под ремонтной ямой, города больше не будет.

Мы пошли по ржавым рельсам. Жёсткий бурьян цеплялся за ноги, как руки мертвецов. Воздух стыл. Туман катился тяжёлыми волнами — против ветра. Метрах в ста от ангара он вдруг взметнулся стеной и отрезал нас от города. Звуки пропали, в белёсой жиже остался только шёпот.

— Андрей! — крикнула сестра, но голос донёсся глухо, словно издалека.

Серая стена уплотнилась и разделила нас. Тень за спиной взвилась чёрным веером, пытаясь разорвать морок, но туман давил со всех сторон. В круговерти замелькали безли-

кие, стёртые фигуры. Они тянули ко мне руки, и шрам на лбу обожгло дикой болью.

Я выставил перед собой гвоздь деда Матвея. Старое церковное железо тускло засветилось багровым.

— Назад! — рявкнул я и рассёк пустоту.

Туман зашипел, как вода на раскалённой сковороде, и нехотя отступил. Но серая масса продолжала напирать, утягивая меня всё глубже в ангар, прочь от сестры.

Изнанка Бузулука пришла за своим главным долгом.

Глава 4. Бабушкин корабль

Туман сомкнулся надо мной, и я понял, что пахнет он вовсе не тухлой водой. Он пах прошлым. Серая муть затягивала не вглубь ангара — вглубь меня самого, туда, где всё начиналось.

А начиналось всё совсем не так, как в книжках, где ангелы с золотыми крыльями спускаются с небес спасать избранных. Моя история началась с кашля — влажного, отрывистого, гулко разносившегося по пыльным коридорам бабушкиного дома.

Я был совсем маленьким, кудрявым и непослушным. Мать, Тамара Васильевна, с вечной усталостью и любовью в глазах, привозила меня на эту окраину всякий раз, когда очередная болезнь сводила меня на нет. В тот раз лихорадка всерьёз пыталась сожрать меня изнутри, и всё же мне, как ни странно, повезло.

Дом бабушки, Ольги Фёдоровны, — старый, скрипучий, похожий на деревянный корабль, застрявший во времени, — сдавал комнату двум квартиранткам. Ангелами они, разумеется, не были. Живые, тёплые, пахнущие духами, табаком и чем-то неуловимо запретным. Для ребёнка этот запах и был самой сутью взрослой жизни.

Я лежал, замотанный в лоскутное одеяло, и слушал. Стены в доме были тонкими, как бумага, и за ними текла чужая,

непонятная жизнь: голоса там звучали мягче, а смех звенел с подтекстом, о котором я и не догадывался.

Одну звали Таня. Её низкий бархатный голос напоминал гитарную струну, настроенную на самый глубокий лад. Вторая, Света, смеялась так, будто знала секрет, от которого у меня замирало сердце. Когда они проходили мимо приоткрытой двери, я затаивал дыхание, пытаясь поймать шлейф их волос и кожи.

Именно в те дни, когда жар начал отступать и сменился странным сладким ознобом, женщины стали моей первой и всепоглощающей страстью. Не детской симпатией — скорее тьмой, в которую хотелось упасть, и светом, который хотелось обнять. Тогда я списывал всё на любопытство. Но это была искра, из которой со временем разгорится пожар, способный выжечь всё дотла.

Вечерами, когда Ольга Фёдоровна засыпала, я подолгу слушал их шёпот за стеной. Он баюкал меня, как древнее заклинание. В фантазиях Таня и Света превращались в почти мифических существ, пришедших спасти меня от одиночества, от болезни, от самого себя.

Но в самых тёмных закоулках детского сознания я уже тогда чувствовал: это не просто игра воображения. Это предзнаменование.

Когда лунный свет косо падал в окно, тени на обоях начинали двигаться. Они плавно танцевали, складываясь в ломаные фигуры, которых в нормальном мире быть не должно.

От моего лоскутного одеяла тянулась невидимая нить — к чему-то очень древнему, давно обжившему этот скрипучий дом, этот глухой город, саму ткань бузулукской жизни.

Взрослым я часто мысленно возвращался в ту комнату. Помнил запах дешёвых духов, приглушённый смех, сердце, бьющееся испуганной птицей. И помнил то, что пряталось за этой романтикой: сумерки, караулившие меня по углам, и чужие голоса в ночной тишине.

Урок я усвоил не сразу. Любовь — не всегда спасительный свет. Порой это прожорливая бездна, которая тянет к себе вопреки воле и заставляет смотреть в глаза собственным первобытным страхам. Там, в доме Ольги Фёдоровны, рядом с двумя девушками, ставшими моими невольными музами, я впервые прошёл это крещение.

Всё, что было потом, оказалось лишь затянувшимся вступлением. И я знаю, что финал будет таким же пугающим, прекрасным и неизбежным, как сама любовь.

Глава 5. Казачья кровь

Мои предки были казаками. Дед, Иван Антонович, любил повторять, стоя на крыльце:

— Мы казаки, с нами Бог! Так и живём, и жить будем.

Доски под его сапогами скрипели, как кости старого коня, которому давно пора на убой. Говорил он это обычно тогда, когда небо над степью сжималось в свинцовый ком, а ветер выл так, будто сквозь щели в заборе лез сам дьявол в поисках живой души. Скажет — и поправит на груди крест, тускло отливающий старым никелем.

Но я знал то, о чём дед помалкивал. Под нашими подошвами, в корнях дубов у колодца, что-то спало. А Бог, этот всемогущий старик, иногда нас просто не замечает. Или смотрит сверху так, как человек разглядывает муравейник, прежде чем опустить на него каблук.

Однажды ночью я услышал, что по крыше кто-то ходит. Не ветер — ветер не делает пауз. Тяжёлые, влажные шаги: хлюп-шлёп, хлюп-шлёп. Будто кто-то волочил за собой мокрую тряпку размером с человека.

Я тихо вышел на крыльцо. Из дома доносился ровный храп деда — мерный, как удары кузнечного молота.

— Дед? — позвал я. Голос сел, будто я наглотался песка.

Никто не ответил. Только степь вокруг — бескрайняя, чернильная, где трава шелестела на языке, которого я не

знал, но понимал каждой клеткой.

И тогда я его увидел.

Он стоял на краю поля, там, где когда-то была деревня, снесённая в сорок третьем. Слишком высокий. Одежда напоминала изорванную казачью шинель, но соткана была не из сукна, а из чего-то тёмного, пульсирующего, как живая плоть. Лица не было. На его месте блестела гладкая чёрная поверхность — зеркало, способное отразить только твою смерть.

— С нами Бог… — прошептал я, и слова застряли в горле раскалённым углём.

Существо не шевельнулось — и в следующий миг оказалось прямо передо мной. Воздух отяжелел, налился гнилью и старой кровью.

— Бог ушёл. — Голос звучал не из темноты, а у меня в черепе, будто кто-то шептал изнутри. — Ушёл, когда вы начали стрелять друг в друга. Когда жгли дома. Когда забыли, что земля помнит всё.

Я хотел бежать, кричать, схватить дедово ружьё и выстрелить в эту бездну. Но ноги налились свинцом, крыльцо держало меня, как гвоздями прибитого.

— Мы казаки, — прохрипел я, нащупывая в себе ту сталь, что была у деда.

Чёрная пустота склонилась к моему лицу.

— Вы казаки, — повторил голос с искалеченной усмешкой. — Но вы забыли, кто здесь хозяин. Бог ушёл. Теперь

здесь только мы. И мы очень голодны.

Оно подняло руку. Не руку — пучок длинных чешуйчатых щупалец, извивающихся, как змеи. Я зажмурился и начал молиться — так, как молился дед и все мои предки до него. В ответ раздался смех: треск ломающегося дерева, хруст костей, разрыв живого сердца.

И я понял. Дед верил, но не знал. Бог далеко, в своих чистых небесах, где нет нашей грязи, холода и ужаса. А здесь, на проклятой земле посреди глухой степи, мы брошены. То, что коснулось моего лица могильным холодом, — не Бог. Это то, что приходит, когда вера высыхает до дна.

— С нами Бог… — выдохнул я, чувствуя, как темнота втягивает меня в себя.

— Нет, — прошептал голос. — Теперь мы с вами.

И степь закричала.

Глава 6. Тень за школьной дверью

Семь лет. Для меня этот возраст стал не началом пути к свету знаний, а приговором — таким же безапелляционным, как для всех детей, которых в те годы загоняли за парты.

Особой тяги к учёбе я не испытывал. Я был мечтателем, и мой внутренний мир был куда красочнее серых пятиэтажек и меловых досок. Пока другие первоклашки зубрили цифры, мои цифры оживали, отращивали крылья и уносили меня в страны, которых нет на картах.

Школа казалась огромным скучающим чревом, которое должно было переварить мою мечтательность и выдать на выходе послушный винтик для государственной машины. Учительница, строгая Галина Ивановна, смотрела на меня сквозь толстые очки с подозрением — будто я вот-вот взорвусь или заговорю с пустотой.

А тени в старом здании были особенно живыми. Когда за окнами темнело, они вытягивались по полу коридора длинными худыми пальцами и тянулись к моим щиколоткам.

— Сосредоточься, Андрей! — Голос Галины Ивановны скрежетал, как мел по доске.

Но сосредоточиться я не мог. Школа в моей голове превращалась в замок древних чудовищ, парты — в скалы, с которых я повелевал бурями, а не решал примеры. Повседневность была слишком плоской, набитой правилами, запрета-

ми и серостью.

Иногда, стоило закрыть глаза, и мне чудилось, что школа подстраивается под мои фантазии. Стены едва заметно дышали, половицы скрипели, будто под ними кто-то ходил, а в углу класса сгущалось пятно, не принадлежавшее никому из нас.

Тогда, под монотонный бубнёж учителей, я начал догадываться: дело не в богатом воображении. Я не выдумывал. Я видел изнанку, затаившуюся за ширмой обыденности. И ждал её часа — зная, что однажды фантазия станет явью. Реальность всегда была тесна для таких, как я.

Глава 7. Тень над школьным коридором

За все школьные годы, с восемьдесят второго по девяностый, друзей у меня так и не появилось. Была только серая, бесконечная очередь одинаковых дней, пахнущих меловой пылью, сыростью старых учебников и неуловимым страхом, висевшим в воздухе, как туман над остывающей степью.

Я сидел за последней партой, в углу, где тени от оконных рам ложились длиннее и гуще. Одноклассники казались куклами на невидимых нитях: смеялись, когда положено смеяться, хлопали, когда положено хлопать. Но стоило мне протянуть руку или просто сказать «привет», воздух вокруг густел, как кисель. Взгляды скользили по мне, как по стеклу. Будто меня не видно. Или, хуже того, будто меня здесь вообще быть не должно.

Классная руководительница, Марья Ивановна, в неизменной красной косынке, с глазами, которые видели слишком много и говорили слишком мало, часто смотрела на меня со странным выражением. Не злым — пустым, как стеклянный глаз манекена в витрине универмага.

— Ты опять один, Андрей? — Её голос шёл будто со дна колодца, откуда не возвращается эхо.

— Да, Марья Ивановна. — Мой собственный голос казался чужим, тонким, готовым вот-вот порваться.

Она молча кивала, и в этом кивке сквозило предупреждение. Она знала, что в этом классе, в этом десятилетии я обречён. Не потому, что был плохим или замкнутым. Живые просто чуяли идущий от меня холод — тот самый, о котором говорил дед Матвей.

В восемьдесят пятом, когда всё вокруг стало меняться, когда привычные стены затрещали и воздух запах чем-то новым и тревожным, я по-прежнему сидел в своём углу. Именно тогда я заметил, что под партой, у самого плинтуса, что-то лежит. Не обрывок бумаги, не кусок мела. Там копошилось что-то тёмное, влажное и живое.

Я не стал смотреть. Знал: если опущу глаза, потом уже ни от чего не смогу отвернуться. Оно терпеливо ждало меня. Оно всегда было рядом — и делало меня тем, кем я был.

В девяностом за спиной наконец захлопнулась тяжёлая школьная дверь, и я понял окончательно: друзей не было и не будет. Я не создан для этого. Мой удел — смотреть со стороны и видеть то, на что другие боятся даже взглянуть.

Я ни о чём не жалел. В полном одиночестве есть своя неразбавленная правда, и она оказалась страшнее любой лжи, которую я выслушал за школьные годы.

Если когда-нибудь я и найду человека, способного увидеть мир моими глазами, между нами возникнет не дружба. Что-то куда более тёмное. Что-то, что в один миг перевернёт всё вверх дном.

Я ждал этого, как затяжная зима ждёт своего неминуемого

конца.

Глава 8. Запах сирени

Время течёт не как чистая вода в ручье, а как густая липкая смола: затягивает, пока не увязнешь в ней с головой. И дети взрослеют не постепенно, как обещают учебники. Просто однажды кто-то невидимый выдёргивает из-под тебя привычную опору — и ты уже в другой, пугающей реальности.

Ещё вчера я был Андрейкой с разбитыми коленками и сердцем, полным простых истин: мир безопасен, а чудовища живут под кроватью, только если их туда пустить. Потом опору выдернули. Голос охрип и стал чужим, а в груди поселилось что-то горячее и пульсирующее.

Я начал заглядываться на девчонок. Они больше не были просто соседками по двору — они стали загадками в коротких юбках, и в их глазах отражалось что-то древнее, чего я ещё не мог понять. Смех их звенел, как бьющееся стекло. Когда они проходили мимо, воздух тяжелел, наливаясь запахом цветущей сирени и чего-то ещё — сладкого и одновременно гнилого. Знакомым духом бузулукской изнанки.

Но меня воспитывали в строгости. Отец, Михаил Иванович, — лицо как из гранита, взгляд, в котором никогда не было места сомнениям, — часто повторял:

— Молчи, Андрейка, если не знаешь, что сказать. Слово, брошенное не вовремя, может убить.

Я верил ему безоговорочно. Верил, что моя глухая робость — надёжный щит, а неспособность первым заговорить с девушкой — добродетель. В этом и была моя главная ошибка.

Стоило увидеть их — Ленку, Машу или новенькую, рыжую, с волосами, полыхавшими, как степной пожар, — кровь закипала, а горло стягивало узлом. Я хотел сказать что-то совсем простое: «привет» или «ты красивая». Но слова застревали жгучим комом. Я до паники боялся, что, если открою рот, мир рухнет. Что из груди вырвется не приветствие, а что-то тёмное, необъяснимое, что оттолкнёт их навсегда.

Девчонки видели это безмолвное страдание. Видели, как я дрожу, как сами собой сжимаются кулаки, как я хочу сбежать — и не могу сдвинуться с места. Их взгляды кололи, как швейные иглы.

Однажды солнце село слишком рано. Тень от старого дуба у дороги вытянулась, длинная и недобрая. В тот вечер я всё-таки подошёл к ним. Как — помню плохо: меня вела сила, которая оказалась сильнее страха. Я замер в трёх шагах. Наши взгляды встретились. В их глазах не было привычного девичьего смеха — только глубокая пустота, затягивающая в себя.

Я открыл рот, надеясь выдавить хоть слово. Но из горла вырвался звук, которого я никогда прежде не слышал. Не крик — свистящий, леденящий шёпот. Будто кто-то чужой заговорил моими связками:

— Ты не один, Андрейка.

В ту секунду я понял: время не просто скоротечно. Оно лжёт. И я уже не тот мальчик, что был вчера, — дороги назад нет.

Девчонки медленно улыбнулись. В этих улыбках не было ничего человеческого — хищные, оскаленные. Они знали правду с самого начала: моя робость была лишь тонкой маской, под которой ворочалось что-то, жаждущее свободы. И теперь оно вырвалось наружу.

Я перестал быть тем, кем был, и стал тем, кем мне суждено было стать. Это пугало до судорог. И в то же время ощущалось как неизбежность.

Глава 9. Запрещённый удар

Девяностый год. Школа осталась позади — от неё остались только въевшийся в пальцы запах мела и тусклый свет ламп накаливания, которые, казалось, не гасли никогда. Я поступил в техникум. Там пахло ржавчиной, дешёвым табаком и общим, зависшим в коридорах страхом перед будущим.

Но меня тянуло к вещам посерьёзнее студенческих забот. К боли. К силе. К тому, что давно шептало мне из тёмных углов.

К карате.

Это слово тогда ещё отдавало запретом. Официально его как будто не существовало: чужеродная ересь, вирус, способный заразить правильную душу советского юноши. Секции жили в подвалах, подсобках и заброшенных цехах, где бетон пропитался чужим потом, а свет сочился сквозь треснувшие грязные стёкла. О карате шептались в столовых, слухи висели в воздухе, как запах озона перед грозой.

Уговорить мать оказалось почти невозможно. Тамара Васильевна сидела за кухонным столом под мигающей лампой, словно предупреждавшей о дурном. Лицо у неё было блёклое, осунувшееся от вечной усталости.

— Карате? — В её голосе прорезался такой холод, что у меня перехватило дыхание. — Это же запрещено, Андрей.

Чужое это, западная зараза. Путь в никуда.

— Это спорт, мама, — настаивал я, чувствуя, как внутри ворочается что-то тёмное и голодное. — Это сила. Защита.

— Защита от чего? — Она подняла глаза, и в них мелькнул суеверный страх — перед тем, чего она не понимала, но от чего всю жизнь меня караулила. — Думаешь, это тебя спасёт? Нет, сынок. Это только притянет к тебе то, чего мы все тут стараемся не замечать.

Я знал, что она права. Знал, что в Бузулуке есть вещи, которые лучше не тревожить. Но остановиться уже не мог. И сломал её — не доводами, не логикой, а тем глухим чужим упорством, которое диктовала мне Тень.

— Хорошо, — сдалась мать. — Но если ты попадёшь в беду… если только…

Она так и не договорила. Да это было уже неважно: мыслями я был в том сыром подвале.

Там пахло застарелым потом, железом и кровью. На побелке темнели следы бесчисленных ударов, а редкие лучи, пробиваясь сквозь грязные окошки под потолком, казались светом из другого мира. В полумраке ждал учитель — старый, хромой, со взглядом человека, видевшего слишком много смертей. Он сидел на голом полу, скрестив ноги, и смотрел на меня так, будто я уже покойник.

— Готов? — Спокойный тон, от которого по коже побежали мурашки.

Я молча кивнул. Я был готов принимать боль и встретить

то, что должно прийти. С первой секунды карате было для меня не спортом, а воротами в изнанку. Способом дотянуться до того, что пряталось за ширмой серой повседневности.

Я ступил на цементный пол.

— Начнём, — сказал хромой, и его лицо расползлось в хищной улыбке, от которой содрогнулся бы любой уличный боец.

И подвал закипел яростью.

Глава 10. Кости и железо

Подвальные тренировки закалили не только тело — они переплавили дух. Страх перед людьми, та липкая паника, которую ломающаяся советская система прививала детям с пелёнок, приучая видеть в мире огромного голодного зверя, ушёл. Растворился в холодном поту первых месяцев.

Тяжёлая сила в руках быстро заставила техникум меня уважать. Не тем светлым уважением, о котором писали в учебниках литературы. Однокурсники уважали меня, как хищники, которые чуют чужие зубы и знают, кого трогать не стоит. В коридорах, пропахших табаком и мокрым сукном, меня больше не задевали. Меня обходили стороной.

В угасающем Союзе, затянутом туманом идеологической серости, подрастал ещё один солдат. Только не плакатный герой из «Правды». В моих жилах ворочалось что-то древнее, перекочевавшее в меня из тёмных углов подвала.

Каждый удар по набитой опилками груше отзывался эхом в голове. Каждая ссадина в спарринге, каждое падение на брезентовый мат были не спортом — ритуалом. Медленным очищением от человеческой слабости, от той детской дрожи, с которой я когда-то смотрел на темноту под плинтусом.

Все думали, что я учусь махать кулаками. Никто не понимал главного: я учился не бояться темноты. По одной простой причине — я сам становился её частью.

Во взгляде у меня осело глухое злое упрямство, которое не могли погасить ни строгие преподаватели, ни затяжные бузулукские дожди. Я чувствовал, как внутри разрастается что-то огромное — что рано или поздно вырвется наружу, и тогда этот хрупкий мир, склеенный из картона и чужих иллюзий, затрещит по швам.

А пока я просто шёл по коридору техникума, и люди молча расступались, провожая меня шёпотом. Я стал воином. Ловушкой, которой в этом застывшем мире никто не ждал.

И эта перемена ощущалась правильной — как первый удар молота по раскалённому добела железу.

Глава 11. Тень над степью

Ветер шелестел сухими колосьями и нёс запах пыли и забытых надежд. Шёл май девяносто третьего. Воздух в Оренбуржье стоял густой, ржавый — время неслось вперёд, оставляя позади рухнувшую империю и напрасно мечтая о будущем, которого не было.

Мне исполнилось восемнадцать. Во внутреннем кармане пиджака, из которого я давно вырос, лежал диплом техникума. Бухгалтер. Твёрдое, красивое слово, обещавшее порядок в хаосе: цифры, складывающиеся в идеальные колонки. Только цифры не знали, что такое голод, и не понимали, как пахнет пустой кошелёк, когда ломается вообще всё.

— Езжай, — сказал отец. Голос у него дрожал, как старый телефон, который вот-вот отключат от сети. — Колхозы умирают. Им нужны люди, которые посчитают, что ещё осталось, а что уже ушло сквозь пальцы.

Мать промолчала. Только поправила мне воротник, и в её глазах стоял тот же застарелый страх, от которого у меня сжалось горло.

Я помнил слова деда Матвея: из Бузулука не уезжай. Но выбора у нас не было. Родители отпускали меня не потому, что верили в мой успех, — просто жить было не на что.

Общий вагон скрипел на стыках, как умирающее животное. Степь раскинулась бесконечным морем, только волны

в нём были из выжженной травы и серой пыли. Солнце выбелило небо добела. Тень в этот полуденный зной сжалась у меня под подошвами в крошечную точку.

Поезд остановился в посёлке, название которого давно смыли с дощатого указателя дожди. Я вышел на пустую платформу. Воздух был горячий, плотный, сплавленный с мазутом и полынью. Лица немногих местных были сморщены, как потёртые карты, на которых отмечены дороги, по которым уже никто никогда не пройдёт.

— Бухгалтер? — спросил старик, куривший у бывшего дома культуры, похожего теперь на заброшенный склад. — Ждали тебя.

Я кивнул. Диплом в кармане вдруг налился свинцом. Эта бумажка означала ответственность за то, что уцелеет, когда всё остальное превратится в труху.

Контора колхоза стояла на отшибе, среди заросших полей, которые давно никто не засевал. Стёкла кое-где выбиты, рассохшиеся двери скрипят. Внутри пахло сыростью и плесенью.

— Здесь раньше всё было, — старик махнул рукой на голые стены. — Теперь одна пыль.

Я шёл за ним и понимал: это не просто скучная работа по распределению. Это испытание. Искать логику в чужом хаосе, пока привычный мир разваливается на куски.

Поздним вечером я сел за исцарапанный стол в кабинете бывшего главного агронома. В углу едва заметно подра-

гивала Тень. На столе громоздились амбарные книги и ведомости, которых годами никто не касался. Я раскрыл первую тетрадь — и знакомые до последнего штриха цифры показались чужими, вывернутыми наизнанку. Они не складывались в колонки. Балансы не сходились ни по какой арифметике. Сквозь пожелтевшие страницы проступала иная, пугающая закономерность.

Но я упрямо вчитывался. Если упущу эту нить, последние крохи угасающего степного мира исчезнут без следа.

За окном лежала глухая чернильная степь. Она терпеливо ждала. И я, восемнадцатилетний парень с гвоздём Матвея в кулаке, понимал: это только начало. Начало пути, который перепишет меня до основания.

Глава 12. Стульчики-зайчики

Поселили меня в бывшем детском саду. После распада Союза, когда мир рухнул в хаос и просто забыл о нас, здание оказалось никому не нужным. Оно застыло во времени, как рваная рана, которую никто не захотел зашивать.

Ключ щёлкнул в замке сухо и резко — будто переломились чьи-то старые рёбра. Я толкнул дверь. Коридор встретил меня липкой тишиной, пропитанной застарелым воском, подвальной сыростью и чем-то кисло-приторным, как гнилые яблоки, забытые в кармане зимней куртки.

Мне было восемнадцать, и ребёнком я, чёрт возьми, давно не был. Умел перебрать мотор, мог не поморщившись выпить стакан палёного спирта и никогда не боялся темноты. По крайней мере, так я думал, пока не переступил этот порог.

Обои в цветочек когда-то, наверное, выглядели весело. Теперь они пожелтели и вздулись пузырями, как кожа старика в лихорадке. Под толстым слоем пыли торчали маленькие деревянные стульчики с вырезанными на спинках зайчиками. Они неподвижно стояли посреди гулких комнат и покорно ждали детей, которые сюда больше не придут.

Я щёлкнул выключателем. Лампочки в старых плафонах помигали и наконец дали тусклый жёлтый свет. Мрак он не разгонял — только подчёркивал глубину углов.

— Привет, — пробормотал я. Голос прозвучал в пустом коридоре слишком громко и чуждо.

Ответом был протяжный скрип половиц. Пол стонал под ногами, словно прогибался под тяжестью скопившегося здесь одиночества.

Здание до самого чердака было пропитано детскими слезами. Я чувствовал это кожей, будто по спине стекала ледяная влага. Здесь годами плакали — когда рвались любимые игрушки, когда заставляли спать в тихий час, когда до судорог боялись тёмного туалета на втором этаже. Этот первобытный ужас маленьких существ не выветрился. Он въелся в штукатурку, в балки, в саму пыль, лениво кружащую в свете ламп.

Я дошёл до бывшей группы «Солнышко». Дверь была приоткрыта. На детском столике лежали забытые раскраски, рядом валялись цветные карандаши — осколки чьих-то маленьких мечтаний.

Но с рисунками было что-то не так. Кто-то вывел поверх зайчиков и цветочков взрослые лица, искажённые болью, с пустыми выжженными глазницами. Когда я шагнул в сторону, мне показалось, что эти пустые глаза медленно поворачиваются следом.

— Галлюцинации, — зло бросил я, вытирая липкий пот со лба. — Усталость с дороги и пары старой краски.

Я заставил себя отвернуться. И в углу, возле низкой кукольной кровати, увидел Тень.

Не мою. Эта не падала ни от мебели, ни от оконной рамы — она существовала сама по себе. Высокая, тонкая, как столб дыма в полночь, и плотная, как литой бетон.

Из этой чернильной густоты донёсся звук. Тихий, прерывистый, до боли знакомый.

Плач.

Глава 13. Группа «Солнышко»

Мой рассудок — надёжный щит восемнадцатилетнего парня — затрещал по швам. Я точно знал, что в мёртвом здании никого нет. Видел пустые глазницы окон, слышал, как степной ветер воет в печных трубах. Но плач за спиной был настоящим. Тёплым, как дыхание спящей матери, и обжигающе холодным, как вода из колодца.

Я попятился. Пятка наткнулась на что-то мягкое. Присев, я разглядел в жёлтом свете ободранного плюшевого медведя. Единственный уцелевший стеклянный глаз был грубо выцарапан, а на матерчатой лапе темнело пятно. Не краска. Бурое, густое, давно засохшее.

Свет погас.

Тьма навалилась разом, ударила по барабанным перепонкам. И в этой черноте раздался смех. Теперь это был не ребёнок. Звук походил на хрип человека, который пытается хохотать, сжимая в горле горсть битого стекла.

— Ха-ха-ха…

Я зашарил по карманам в поисках спичек, но онемевшие пальцы так дрожали, что коробок выскользнул из рук. Стены группы, казалось, медленно сдвигаются, сжимая пространство, как гигантский кулак. И внутри этого кулака я почти физически ощущал тысячи маленьких невидимых глаз, смотревших на меня из углов с глухим мёртвым осуждением.

— Уходи, — прошелестел голос будто из-под прогнивших досок. — Тебе здесь не место. Ты слишком большой. Ты слишком… старый.

Я рванулся к выходу, слепо шаря по косяку, навалился плечом на дверь — она даже не дрогнула. Заперто. И не изнутри — снаружи. Кто-то закрыл меня в этой коробке.

В дальнем конце коридора зашелестели маленькие босые ноги.

Шлёп-шлёп-шлёп.

Шаги быстро приближались по вековой пыли. Они бежали прямо ко мне.

Глава 14. Местный

Впереди этого детского кошмара скользила та самая Тень. Она росла на глазах, вытягиваясь, пока не упёрлась в закопчённый потолок. Я рухнул на колени и закрыл лицо руками. От напускной уверенности взрослого парня не осталось ничего — только первобытный ужас ребёнка, наконец понявшего, что монстр под кроватью никогда не был сказкой.

— Мы не ушли, — прошелестело у самого уха, обдав запахом гнилых яблок и застоявшихся слёз. — Мы ждали тебя.

Свет мигнул в последний раз и на долю секунды выхватил из темноты десятки маленьких фигур. Они стояли плотным кольцом вокруг меня. Бледные, как бумага, лица без черт, чёрные провалы вместо глаз — и широкие беззубые улыбки. А за ними, в дальнем углу, застыла она. Та, что плакала. Та, что рисовала искажённые взрослые лица.

Тварь медленно протянула ко мне длинную костлявую руку с грязными скрюченными пальцами.

— Пора играть.

В ту секунду я поверил, что никогда отсюда не выйду. Здание проглотит меня, как зыбучий песок, и я стану безмолвной частью его жуткой истории.

Шлёп-шлёп-шлёп. Шаги были уже вплотную.

И тут снаружи загрохотал засов. Дверь распахнулась, в проём ударил луч фонарика, и хриплый мужской голос рявк-

нул в темноту такое, что я не решусь повторить. Кольцо фигур рассыпалось, как пепел на ветру.

На пороге стоял мужик лет под тридцать, с лицом, изъеденным степными ветрами и дешёвым куревом.

— Живой? — Он посветил мне в лицо. — Повезло. Новеньких они любят.

Его звали Хома, но в разваливающемся колхозе все называли его просто Местным. Он жил в соседней комнате того же заброшенного крыла и знал каждый камень на этой умирающей оренбургской земле. Мы сошлись быстро.

Пили каждый божий день — дешёвую горькую водку, отдававшую химией, которая жгла пищевод, как раскалённые угли. Приводили женщин: и случайно забредших в наше общежитие, и тех, кто годами жил в посёлке и, похоже, пил с нами только затем, чтобы в угаре не слышать, что творится по ночам в бывшем детском саду.

Но палёный спирт не глушил звуки изнанки. Наоборот, делал их отчётливее, будто кто-то выкручивал ручку громкости радиоприёмника прямо у меня в черепе.

По ночам детский сад оживал. Не в том смысле, что в пустых группах загорался свет, — плафоны оставались мёртвыми. Здание просыпалось в тишине. В удушливой свинцовой тишине, которая давила на грудь и заставляла сердце сбиваться с ритма.

Я хорошо помню ночь, когда Хома впервые повернулся ко мне и жёстко сказал:

— Не смотри в окно. Никогда.

— Почему? — прохрипел я.

От его ватника несло махоркой и чем-то приторно-гнилым — точь-в-точь как те яблоки. Глаза, обычно мутные и полуприкрытые после попойки, были широко распахнуты и налиты животным ужасом.

— Потому что там нас ждут, — прошептал Местный. — Они не дети, приятель. И никогда ими не были.

Глава 15. Правила игры

Я всё-таки посмотрел в окно.

За стеклом, покрытым жёлтой степной пылью, стояла глухая ночь. Колхозный пейзаж изменился до неузнаваемости. Деревья кренились к зданию, как скрюченные старушечьи пальцы, и их голые ветви мерно шевелились — хотя ветра не было вовсе. А на детской площадке, у ржавых качелей, стояли тени.

Маленькие. Слишком маленькие для взрослых.

Они выстроились в ряд лицом к нашему окну. Вместо лиц — гладкая серая кожа, туго натянутая на черепа: ни глаз, ни ртов. Но я знал, что они смотрят. Их ледяной взгляд полз по спине, как слизь.

— Они хотят поиграть, — пробормотал Хома дрожащим голосом. — Всегда хотят. Выйдешь к ним на площадку — станешь частью игры. Навсегда там останешься.

Мы пили прямо из горла. Спирт жёг пищевод, а холод внутри только рос. Мы пытались разговаривать, перебивали друг друга пошлыми байками о бабах — лишь бы перекричать вязкий шёпот. Но шёпот перерос в крик. Он шёл прямо из стен: сначала скрежет гвоздей по штукатурке, потом жалобный, разрывающий душу плач. И в этом детском вое я отчётливо различил своё имя.

— Андрейка… — позвал голос из-под сгнивших половиц.

— Выходи. Мы приготовили тебе игрушку.

Я заорал. Хома тут же навалился сверху и стиснул мне горло так, что в глазах поплыли кровавые круги.

— Заткнись! — прошипел он мне в ухо, и его горячие слёзы капали мне на щёку. — Услышат, что ты в панике, — всё, хана. Они страх обожают. Он для них пахнет, как парное мясо для волков.

Я хрипел под его ладонью и смотрел ему в лицо. В глазах Хомы застыл даже не ужас — вековое отчаяние. Он знал: этот проклятый кусок земли никогда не отпускает постояльцев. Он их медленно переваривает.

Хлипкая дверь с грохотом распахнулась. Ледяной сквозняк, пахнущий гнилью и сырой землёй, ворвался внутрь и задул единственный свечной огарок. В темноте зазвучали шаги.

Топ-топ-топ.

Лёгкие, как падающие птичьи перья, но каждый отдавался в черепе ударом кузнечного молота. Они были внутри.

Что-то ледяное и совсем крошечное коснулось моей лодыжки. Я снова закричал — и понял окончательно: водка нас не спасёт. Случайные женщины не спасут. И Хома со всей его степной мудростью не спасёт никого.

Из углов выполз раскатистый хохот. Не детский — запредельно древний, искажённый, сплавленный из сотен голосов, которые проглотило это здание.

— Начинаем игру, — прошелестел невидимый рот у само-

го уха. — Правила простые. Живым ты отсюда не выйдешь.

Я зажмурился до судорог, но темнота под веками не спасала. Воображение дорисовывало то, что я боялся увидеть: безликие серые фигурки карабкаются по одеялу, одна устраивается у меня на коленях, другая мёртвым грузом садится на грудь Хоме. Гладкие черепа вплотную к нашим лицам, ледяные костлявые пальцы смыкаются на горле и давят, давят — пока мир не тонет в чёрной бесконечной тишине.

А за окном колхозные деревья мерно качали ветвями, словно аплодировали нашей капитуляции.

Утром я очнулся на полу. Горло саднило, на шее темнели маленькие синие отпечатки — как от детских пальцев. Хома сидел у стены и молча курил, глядя в одну точку. Мы так и не заговорили о той ночи. Ни тогда, ни потом.

Игра не закончилась. Она просто взяла паузу.

Так я прожил до ноября девяносто третьего. Колхоз назывался «Заря» — злая ирония: настоящая заря не всходила над здешними полями лет десять. Стены моей комнаты затянула плесень, похожая на мохнатые зелёные пальцы, упрямо тянущиеся к горлу. Мы копали мёртвую землю под началом председателя, в чьих глазах горело такое дремучее безумие, что я боялся смотреть ему в лицо. Он без конца толковал о планах, урожаях и великом будущем, но сорванный голос звучал так, будто он читал заклинания из книги, написанной кровью.

Ещё немного — и я бы спился или тронулся умом. Спасла

меня повестка.

Глава 16. Серый ад

Пришли за мной в серый дождливый вторник, когда небо висело над колхозом «Заря», как тяжёлое гнилое одеяло. Двое из военкомата, в форме, с тем глухим безразличием на лицах, которое появляется у людей, повидавших слишком много чужого дерьма. Они выросли перед дверью детского сада, и я почувствовал, как мороз пробирается под куртку, поднимая волосы на руках дыбом.

— Ты, — бросил один и ткнул в меня пальцем. — Идёшь с нами.

Я едва не расхохотался. Хотел сказать, что давно перестал быть нормальным человеком, что врос в это проклятое место вместе с плесенью и пустыми бутылками Хомы. Но слова застряли в горле комом сухой степной земли.

Меня взяли под руки. Я шёл к выходу, и разбитый асфальт будто уходил из-под ног — словно оренбургская земля брезгливо выплюнула меня наружу.

До призывного пункта ехали долго, в кузове грузовика, который стонал на колдобинах, как умирающий зверь. Гулял ледяной сквозняк. Мы дрожали — не столько от ноябрьской стужи, сколько от страха перед неизвестностью. Сквозь щель в брезенте мимо плыли пустые поля, голые скелеты деревьев, редкие избы, словно вымершие в один миг.

Когда эшелон наконец доставил нас в часть, я понял, что

попал в ад. Не книжный, со сковородами и серой. Этот был серым, бетонным и бесконечным. Сержанты орали, матерились, вбивали в нас устав табуретками, но глаза у них оставались такими же пустыми, как у безумного колхозного председателя. Людей в новобранцах они не видели. Мы были номерами. Пушечным мясом.

По ночам я лежал на жёсткой койке и слушал, как хрипло храпит взвод, как кто-то тихо скулит во сне, уткнувшись в застиранную подушку. В эти часы мне казалось, что я уже умер. Что Бузулук, школа, подвальное карате и угар в детском саду были долгим бредом, а теперь я проснулся в настоящем мире, где нет надежды — только холод, голод и распад.

Но самое страшное ждало в караулах и на ночных дежурствах. Побелённые стены казармы в свете дежурных ламп начинали едва заметно шевелиться. Тени в углах ленинской комнаты сгущались в ломаные, слишком знакомые формы. Голоса, затихшие было на плацу, снова зазвучали — громче, отчётливее. Они вкрадчиво твердили, что я не один. Что среди сотен забитых солдат затаилось что-то древнее и злое и терпеливо ждёт, когда я сорвусь.

Тогда я понял: армия — не просто служба. Это бетонная ловушка, где человеческие души медленно забивают до смерти, а освободившиеся места занимают твари — из недр земли или из закоулков моего собственного сознания.

Глава 17. Битва и боль

Служба с девяносто третьего по девяносто пятый не имела ничего общего с плакатным «мужанием». Она за шкирку выдернула меня из оренбургского угара и швырнула в ледяную грязную реальность, где единственной валютой была звериная выносливость, а единственным законом — прихоть сержанта.

Дух тогда не закаляли разговорами. Его выколачивали табуретками, вбивали сапогами, ломали палками по суставам — пока он не переставал дрожать и не превращался в сухую монолитную кость.

Меня били. Жёстко, до кровавых соплей, без всяких метафор. Сквозняк в казарме промораживал до мозга костей, и воздух колол лёгкие при каждом вдохе. Грязь, смешанная с потом и чужой кровью, въелась в кожу, как вторая, дублёная шкура.

И бил я сам. Иногда — по ночам в каптёрке, когда кулаки с хрустом встречались с толстой доской. Но чаще это была глухая драка с самим собой: с желанием сдаться, со слабостью, с детским голосом в голове, который испуганно шептал, что я всего лишь мальчик, заблудившийся в лабиринте чужих жестоких правил. Тень в такие минуты не выла. Она хищно скалилась и впитывала армейское насилие, как сухой песок впитывает воду.

Сослуживцы бродили по бетонным коридорам, как безликие призраки. Время там застыло в вечном отупляющем ожидании. Мы быстро научились смотреть в глаза чужой смерти — без паники, без жалости, с той звенящей пустотой, которая приходит, когда понимаешь: человеческая жизнь — грошовая стекляшка, и разбить её можно одним неосторожным движением.

Под бесконечными гарнизонными дождями мир изменился. Раньше деревья были просто деревьями, а небо — синим холстом. Теперь в каждом шевелении веток я угадывал угрозу, в каждой туче — предвестие шторма. Мир стал глубже, опаснее — и честнее.

В сказки я больше не верил. Слишком часто видел, как люди ломаются под весом обстоятельств, как добрые слова за секунду становятся заточкой. Страх, который в детстве парализовал меня, стал спутником и наставником. Он приучил ждать удара каждую секунду — даже в спину, даже из темноты.

А вместе со страхом пришла уверенность. Не пустое подростковое самолюбие — тихая, тяжёлая уверенность человека, который прошёл через ад и вышел живым. Я знал, что выдержу любую боль, любой холод и устою на ногах, даже когда подкашиваются колени. Эта сила родилась в страдании, закалилась в ледяной воде караулов и отточилась в драках. Она не кричала о себе. Она просто была — неподвижная, как скала, и неотвратимая, как время.

Когда в девяносто пятом я перешагнул КПП, обратной дороги к робкому мальчику уже не было. Домой возвращался другой человек. Тот, кто знал настоящую цену жизни и дешёвой смерти. Кто понял, что мир никогда не будет добрым — но всегда будет честен в своей жестокости.

Глава 18. Тень на асфальте

Свобода не успела даже расправить крылья. Отец стиснул её в железном кулаке прямо на перроне, едва я сошёл с подножки вагона.

Шёл девяносто пятый. Бузулук пах не весной и не надеждами новой эпохи — дешёвым табаком, сырой нефтью, палёным бензином и глухим страхом. Город застыл в безвременье: облезлый, серый, придавленный тяжёлым провинциальным небом.

У ржавых торговых рядов на площади копошился вещевой рынок. Продавцы в заношенных пуховиках топтались на картонках прямо в грязи, сбывая турецкую кожу и китайский ширпотреб. Прилавки магазинов уже не пустовали, как несколько лет назад, — пустыми были кошельки. Зарплату не платили месяцами. Нефтяники, водители, заводские сидели на огородах и бартере, перекрывали рельсы, бастовали, а стране, казалось, было на них плевать.

По вечерам в окнах пятиэтажек мерцали старые «Рубины». Из Москвы, из глянцевого мира новостей, на голодную провинцию смотрел отёкший президент — невнятная речь, тяжёлые взмахи рук, пляски перед камерами. Мужики смотрели на это, глушили палёную водку и прятали глаза. Из редких «девяток» гремели хриплые кассетные шлягеры, но перекричать тоску, разлитую по разбитым улицам, не могли.

Здесь не жили — выживали, глухо и зло.

— Давай, сынок, — хмуро сказал отец. Голос у него был прокуренный, грубый, как гравий под колёсами ПАЗиков. — Время не ждёт. У нефтяников есть работа. Людей с головой и характером не хватает. Зацепимся на промыслах — хоть тушёнкой да пайками долги отдадут. Дома шаром покати, Андрей.

И понеслось. Бухгалтерский диплом никому не понадобился, а вот армейские права пригодились. Вместо мирной жизни я сел за баранку и поехал на степные промыслы. На дальние участки возили по дорогам, которые не ремонтировали со времён Союза. Путь шёл через вымирающие посёлки, где избы с заколоченными ставнями врастали в сухой бурьян, где пахло гарью, колодезной сыростью и безнадёжностью. По вечерам у редких сельмагов собиралась хмурая молодёжь в спортивных костюмах и глушила спирт «Рояль» прямо из горла, чтобы не сойти с ума от надвигающейся темноты.

Скоро весь мой мир сузился до кабины старого КамАЗа. Там намертво въелись запахи плесени, застарелого пота, мазута и приторно-сладкой сырой нефти. Мне казалось, что эта жижа пропитала кожу до самых костей. Это была не работа ради куска хлеба — новое проклятие, наложенное в тот день, когда я сдал на склад армейское обмундирование.

Отец, работавший на тех же промыслах, любил повторять, что нефть — кровь земли. Но я знал лучше. Я видел, как

она выходит из недр: чёрная густая слеза, выжатая под чудовищным давлением из живых жил планеты. И когда я вёз за собой тяжёлую цистерну, за спиной ворочалось что-то бесконечно древнее, слепое и злое.

Мы не просто доставляли нефть. Мы тащили на себе то, что рвалось наружу. Тварь, которая только и ждала, чтобы хлынуть из стальной бочки, залить всё живое и превратить мир в чёрное, мёртвое, липкое море.

Дороги извивались по выжженной равнине чёрными змеями. Вечера сменялись рассветами не плавно, а рывками — будто невидимый кукловод дёргал за грязную верёвку, переключая декорации. На ночных перегонах придорожные деревья превращались в скрюченные человеческие фигуры, машущие вслед машине, словно моля о пощаде.

Ночи были самыми страшными. Фары вырезали в степной мгле узкий дрожащий коридор света, а тени вокруг начинали жить своей жизнью. Они отрывались от стволов, от бетонных столбов, от моих собственных мыслей и молча ползли следом. Я чувствовал на затылке их ледяной липкий взгляд.

Иногда в тишине кабины я различал шёпот. Не хрип усталого отца, не вой ветра в уплотнителях. Звук поднимался из истерзанной земли, из тех самых скважин, откуда станки-качалки тянули её чёрную кровь. Невидимый рот шептал, что человеческая свобода — дешёвая иллюзия. Что все мы — подневольные водители, везущие чужие грузы по дорогам, которые ведут только в одну сторону.

В темноту.

— Ты устал, сынок, — глухо говорил отец, когда мы останавливались на ночёвку в пустых степных гаражах, где пахло вековой плесенью. — Но работа есть работа. Нефть ждать не будет.

Я смотрел перед собой и знал: однажды я закрою глаза и проснусь не в кабине. Проснусь там, где мазут течёт вечно, где нет ни солнца, ни воли — только липкая тьма, которая ждёт меня, как старый верный друг. И это будет не конец. Только начало того, что отец упрямо называл обычной работой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.